

Still, I've heard it said that all stories are basically love stories, and my story is no exception. This is a love story, too. And, like a lot of love stories, it doesn't have a happy ending.

*O. J. Simpson.
If I Did It: Confessions of the Killer¹*

¹ «Я постоянно слышу, что все истории — это, по сути своей, истории любви, и моя — не исключение. Это тоже история любви. И, как у многих таких историй, у неё не будет счастливого конца» — О. Дж. Симпсон «Если бы я сделал это: признания убийцы».

Пролог

САД

— Нет, фантазёрка ты, Соня! Не говори глупостей! — он говорит, а голова неестественно вращается на собственной оси, как шестёренки заведённых часов.

— Нет, правда, всё время о вас думаю! — я не иду, выпрыгиваю, как тихоокеанский лосось, способный во время нереста достигать высоты до четырёх метров и выше, отчего семейство рыб так и названо «прыгунами».

— Не ври! — глазки-стрелки на пятнадцать часов.

— Не врью! — прыг и смех.

Он всегда повторял это «Не ври!». А я всегда не врала. Ему никогда не врала.

Пару раз отлучался. Один раз пописать — бросал меня посреди одинокого острова на асфальте, а сам скрывался в тёмном переулке меж низких домов.

— Ой, вы куда? — я щедро, как часто прежде, хохочу.

Возвращается и роскошно извиняется, называя меня, как никогда раньше, по имени-отчеству.

— Ничего, вы же мальчик, — вычерчиваю носком туфли на асфальте, как на географической карте, территорию распространения верблюдов.

— А что, девочки не писают?

Писают ещё как! От страха писают в трусики. Так я его боялась — горячим страхом, от которого моментально становилось холодно и чесалось.

Другой раз отлучился ответить на назойливый беззвучный звонок.

— Закрой уши.

Я, как послушная обезьянка, безропотно подчиняюсь. Телефон красиво ложится в его ладонь, а у тени на асфальте образуется горб. Позвоночник у верблюдов прямой, несмотря на наличие горбов.

До этого мы не виделись где-то около года, может, чуть меньше или чуть больше. Наши встречи после того летнего вечера на веранде ресторана «Дача» я могла пересчитать по пальцам. Это мало. Но для меня — много. Я так его боялась, что даже одного свидания было для меня много, ведь он и так всё время был у меня в голове. И я никогда ему не врала.

Конечно, врала, если считать враньём стремление всем своим существом угадать, что он хочет услышать. Я только этим и занималась — угадывала. Сколько воды может выпить верблюд? До 200 литров за раз.

— Не верю! — глаза вращаются в глазницах, как заведённые. Я слышу движение с высокой башни старых часов.

— Конечно, правда, ведь прошло совсем немного времени. Год или два.

Часовой механизм останавливается. Задумывается. Взвешивает время на весах вечности.

Мы проводили вечер в ресторане «Дача» после ночи на даче. Все началось в ресторане «Дача». Всё закончилось в ресторане «Дача». Как бы закончилось, но не закончилось. Я осталась заядлой дачницей — возвращала сад, который он во мне создал. Сначала сжёг напропалую все сорняки, которые там росли, превратил в золу. А потом совершил чудо — разбросал тут и там фруктовые деревья и дикий пронзительно-кислый виноград. Чёрную смородину и крыжовник. Карликовую вишню и фиолетовый базилик. Тыковку и грецкий орех. Клубнику и малиновый куст. Зрелые ягоды падали с веток и гнили. Плакал грустный жасмин.

Раз в год мы гуляли по саду, как Данте и Беатриче. Он, как раньше, как многих девушек, отмеченных печатью избранности или попросту попавших под руку, называл меня Мусей, Мусечкой. Упруго тянул:

— Мусь, ну Мусь, ну что?

Я мычала в ответ.

— Удивительно, Соня, каждый раз с тобой я чувствую себя, так сказать, странно...

— Как в саду?

— Да! Как взрослый в детском саду.

— И я себя чувствую, как в детском саду, а вы — взрослый, который меня забирает.

Забрал он меня не из сада, но из Школы, прямо с занятий. Приходилось прогуливать.

— Там ничего интересного, какая-то скучная лекция.

Я заговорщически перемигиваюсь на пороге алма-матер с заинтересованным охранником, носившим замечательное немецкое имя Рудольф и седые курчавые брови.

Как радостно вывалиться в дождливый полдень и скакать галопом по лужам вокруг Мастера! На мне, по парижской моде, чёрный плащ, подпоясанный красным ремнём, и берет цвета бургундского. Придумываю стишок:

Mon cher petit papa¹
Хочу бургундского вина!

Mon cher petit papa звонко прихлопывает меня ладонью по голове, как мячик.

— Соня, не стыди меня!

Ждём поезд на платформе метро. Сжимаю его руку и незаметно оглядываюсь — нет ли поблизости ещё прогульщиков. В другой руке держу розовый квадратный портфель с тетрадками.

¹ Мой дорогой папочка (*фр.*).

— Что же ты обо мне думаешь? — тик-так, снова металлический звук точных механизмов.

— Думаю, что вы — волшебник! А ещё — Мастер, часовщик, а я — механическая кукла, которая вдруг заговорила.

Смеётся — в это он верит. Сам говорил:

— Я — волшебник. Превращу тебя в лягушку, если будешь говорить глупости.

— Я не буду, не буду! — я не буду.

— Не веришь? А я так уже превратил пару девочек, говоривших глупости, — выпученные глаза заискрились.

Волшебник. Колдун на сельской свадьбе.

Я, конечно, верила. Он мог устроить что и похуже. Его сад был заселён лягушками. Мой сад был заселён лягушками. Сколько раз я слышала, как он говорил другим неопытным девочкам то же самое на той же даче: «Превращу тебя в лягушку!» Он всегда говорил одно и то же, а потом забывал, и опять говорил теми же словами, но уже другим людям. Я таяла, подмечая и запоминая его слова. Мне нравилась эта жестокая игра: я — дипломат, миротворец. Утираю слёзы и приказываю молчать малышам, в первый раз оказавшимся на подмосковном пляже, изначально предназначенном для дипломатической элиты и зарубежных гостей. Кстати, на нём же Светлана Светличная — любимая актриса Мастера — позировала в бикини для фотографов немецкого журнала «Штерн».

— Тоже ты придумала — волшебник! Неоригинально.

Механизм в голове отсчитывает секунды в такт экрану с электронными часами над чёрной дырой туннеля.

— Ну и что, что волшебник? Что ещё ты обо мне думаешь? — я уже слышу нотки раздражения в его голосе.

На этот вопрос трудно угодить с ответом. Мозг отключается, нужно быть готовой — придумать что-нибудь эдакое заранее. У меня было несколько заготовок:

Вероятно, дьявол

Думаю о том, как сделать вам приятно.
Думаю, чем вас удивить.
Думаю, как вам благодарна.
Думаю, как мне хорошо с вами.
Думаю о том, как вы ходите.

Выбираю последний:

— Думаю о том, как вы ходите.

— И как же я хожу? — лягушачий рот растягивается в удивлении.

— Так красиво... Величественно, как рок-звезда! — смотрю снизу вверх и, довольная, упиваюсь своей находчивостью.

На груди он носил две звезды. Одна — маленькая на тонкой цепочке. Другая — большая и тяжёлая, грубо отлитая из серого металла. Эта, большая, звонко и ритмично стучала мне по зубам.

— Глупая ты, Соня, фантазёрка!

Глава 1

ЗАМУХРЫШКА

На полу валяется забытая пустая коробка из-под затёртой кассеты с печатью видеопроката. Киноплёнка про мужчину и женщину в удаляющемся по маршруту троллейбусе. Он купил ей билет, спас от злобной кондукторши, а она одарила его взглядом из рая. Их история закончится плохо. А наша?

О том, что ответы нужно придумывать заранее, я узнала почти сразу. Он задаёт вопросы и ждёт: «О чём ты думаешь? Что ты хочешь?» Вопросы вроде самые простые и одновременно — самые сложные. Не дай бог ответить «Не знаю!» Сатанеет. Звереет. Ненавидит.

— Если ты не знаешь, чего хочешь, значит, не хочешь быть со мной.

— Хочешь, чтобы я тебя трахнул? Как банально, но большего я от тебя и не ожидал. Если хочешь, чтобы тебя кто-то трахнул, выйди на дорогу, останови тачку, там какой-нибудь пацанчик тебя трахнет.

А он не для этого. Он — бог секса. Самый изощрённый, самый что ни на есть опытный, самый трепетный и самый требовательный — самый лучший. Ну а ты кто? Ты никто, серая мышь. Замухрышка.

— Соня, ну чего ты такая замухрышка?

Самым настоящим счастьем было слышать, как он называет меня по имени. Но это не тот случай, когда можно, вздохнув как старый верблюд, отмолчаться. Нужно отвечать, и хорошо бы иметь ответ наготове, но в этот раз я и рта открыть не успела.

— А может, она лесбиянка? — спросил любимый ученик и помощник Профессора — Боря, а для нас — Борис Дмитриевич. Он мог говорить и делать всё, что вздумается.

Я улыбалась. Вот-вот начнётся веселье — разговор двух неотразимых мужчин. Мне можно просто молчать. Профессор заинтересованно развернулся к молодому коллеге, закинув руку на спинку дивана, и с удовольствием растянул улыбку:

— Да нет, не лесбиянка.

Борис в свойственной ему манере выпендриваться, как пятилетний Моцарт, боролся до конца:

— А ты откуда знаешь?

Он был единственным среди нас, кто мог позволить себе с досадой в голосе обращаться к Профессору на «ты».

— А тебе всё скажи! — Мастер потянулся к холодному пиву, а я едва не рассмеялась от облегчения.

Пока они беседовали, тихая официантка с лжевьетнамским лицом поставила на стол три бокала пива по акции — три по цене двух. Угадайте, кто берёт два? Ему весело. Он прекрасен. Лысый довольный божок.

Вы бы обиделись? Я почему-то обижалась только на Борю. Лесбиянкой я не была, а вот замухрышкой — вполне. На курсе по зарубежной литературе мы проходили «Божественную комедию» Данте. Профессор предложил написать сочинение на тему «Любовь Данте к Беатриче Портинари».

— Представьте женщину, похожую на Беатриче, сейчас, в наше время? Как она выглядит?

Я представила — ни больше ни меньше — себя и написала: «Она была хороша удивительной старинной красотой — такие лица встречаются на иконах и картинах старых мастеров. Только поэту дано постичь её красоту:

Надмение и гнев пред нею тает.

О донны, кто её не восхвалит?»¹

Я была посредственностью с амбициями провинциалки, пока не встретила бога секса, пока он не открыл мне глаза на борьбу периферии и центра.

— Ты не секси. Значит — замухрышка.

На втором уроке мы выучили — девушки делятся на секси, замухрышек и лесбиянок.

После семинаров по средам мы ходили во вьетнамское кафе. Не помню, как оно называлось. Просто «Вьетнам». Я дала название месту, которое хотела присвоить. «Вьетнам» был только моим, с мятно-зелёными стенами и туалетом, спрятанным за пёстрой шторкой. А за окном всегда рано темнело. Я не смотрела в окно, просто знала, что там темно. Как говорил Мастер: «Уют — это всегда усилие». Под тёплым светом лампы мне было уютно, как тасманскому дьяволу в саванне близ пастбищ острова Маккуори. В кафе приходило много посетителей, но никто не оставался так долго, как мы. А я до сих пор сижу там и веду счёт наших встреч, чтобы пальцев на руках не хватило, чтобы знать, что причастна. Я придумала, как мне казалось, хитрость — ходила не только со своим курсом, но и с младшим — по средам и вторникам. Смешная хитрость идущих на смерть. Ave, Caesar, morituri te salutant².

Деревянная вешалка на фигурных ножках ломилась под весом наших одежек. Похожая на взрослую пальму, она таила угрозу, от которой режет глаза, как от солнца. Ты не выберешься, даже не думай, не сбежишь — не пытайся. Мы

¹ «В своих очах Любовь она хранит...» — Д. Алигьери. Перевод А. Эфроса, М. Лозинского.

² «Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя» (лат.).

уйдём только вместе. Моё пальто погребено глубоко под ворохом чужой одежды. Конечно, можно сбежать без него, но кому такое придёт в голову? Пока куртка Профессора висит на самом верху, как призовой орех, никуда ты не денешься. Мы все здесь, чтобы его развлекать. А если всё-таки в отчаянном порыве ты осмелился и изловчился, извлёк пальто, пока за столом велась оживлённая беседа, Профессор беззаботно смеялся и казалось, будто ему всё равно, что за мышь копошится в тряпках. Ты откашлялся, чтобы деликатно попроситься, не привлекая особого внимания.

— Куда это мы собрались?

— Простите, мне надо... — говоришь ты настолько тихо, как только можно произнести эти слова.

— Что ты там мямлишь? Садись. Ну посиди ещё немного, мы тоже скоро пойдём.

И ты сидишь в пальто, потеешь на краешке дивана, не решаясь двинуться ни туда, ни обратно. Но, к счастью, до этого ещё далеко — мы ещё в пути. Около шести заканчивается семинар, а на самом деле — когда Профессор проголодается. Он раньше всех покидает здание Школы, пока мы пробиваем пропуски на охране и проходим через турникет.

— До свидания, Рудольф Рамазанович! — я любовно прощаюсь с охранником, две буквы «р» в имени которого роднят его с Профессором.

— Никого не ждём — дорогу все знают, — бросает Профессор.

Он не любит ждать, не ждёт зелёного сигнала на светофоре — перед ним уже маячат зелёным стены «Вьетнама».

Когда мы заходим в кафе, никто не садится. Детки переминаются с ноги на ногу, шарят по карманам, извлекая, как взрослые, телефоны и кошельки. Возле стола мешается толпа, пока кто-то не выдерживает напора нелепости и не забирается в угол к окну. И вот мы уже все сидим, листаем

меню — нет, не листаем, меню — одна заламинированная бумажка с курсивом — тонким и курчавым, как усы ещё не завязавшегося гороха, обещающего налиться белком и крахмалом, стать хрустящим стручком.

Текст без отступов обтекает прямоугольники фотографий блюд — им тесно, и мне тесно между людьми, которых я вроде знаю и не знаю. Вот они, мои одноклассники, сидят, и круглые головы на фоне салатных стен снова вызывают ассоциации со стручками и горошинами. Слева от меня, справа от меня смотрят в меню, тыча пальцем в какой-то алкогольный коктейль с градиентом, переходящим от светло-жёлтого к тёмно-красному, как самый красивый закат.

Профессор не смотрит в меню — всегда заказывает один и тот же суп. Он ходит во «Вьетнам» подкрепиться — поест горячего и пропотеть. И здесь он показывает пример, как нужно — всегда знать, что ты хочешь. Борис Дмитриевич заказывает суп. Голодные ученики тратят последние деньги на плошку вьетнамского супа и бокал пива по акции.

К супу на плоской деревянной тарелке подают пророщенные семена гороха — на вид невесомые — я чувствую, как они скрипят на зубах, оставляя лёгкий привкус крахмала, — и две сочные дольки лимона. Одним движением Профессор отправляет проростки в суп, другим — выдавливает лимон, одну за одной обе дольки. Кислый сок стреляет мне в лицо и щиплет глаза. Надеюсь, суп достаточно горячий, такой горячий, как умеет быть только суп. Большая глубокая тарелка дымится, глазки блестят. Профессор дует на ложку.

Раньше я с пренебрежением относилась к азиатским кухням: кому придёт в голову запоминать все эти непроизносимые названия? Не отличала тайскую от вьетнамской, японскую от китайской. Фо Бо был для меня просто супом с ку-

рицей, а Фо Га — с говядиной. Мастер всегда заказывал суп с курицей, а Борис Дмитриевич — с говядиной. Фо Бо и Фо Га. Мастер и ученик. Они видели разницу, которую я не замечала и ничего не заказывала, только смотрела, как ели другие. Знаете, как едят другие? Скушали, бросили в тарелку смятую салфетку и забыли. Я пожирала глазами и запоминала форму лимонной дольки. Я — выжатое мясо лимона.

Мари, когда за ней стал ухаживать Боря, заказывала свежую маракуйю, запивала свежавыжатым манговым соком. До этого я не видела, как подают настоящую маракуйю — только на картинках и на баночках йогурта. Она ела её десертной ложкой и морщилась. Мари многое понимала — никогда не пренебрегала десертом, ни с кем не делилась и выбирала самые дорогие блюда в меню.

Мари была экзотическим капризом за нашим столом. Самая секси-девушка на курсе, да и во всей Школе. Не маракуйя — орхидея, птичка колибри, острая льдинка, редкая жемчужина, электрическая медуза, кровожадная осьминожиха. Она была победным трофеем, который — не приложу ума как — учитель уступил своему ученику. Она и творческий псевдоним взяла соответствующий — Мария Святая. Мы составляли идеальную пару — апогей секса и замурышка.

Среда — всегда праздник с оттенком культа. К среде я готовилась всю неделю. Семинары были захватывающими, но самое любопытное происходило во «Вьетнаме». Нас там знали и боялись, то есть боялись Профессора. Он есть страх, он есть секс — Альфа и Омега движущей силы прогресса. И как можно не бояться довольного лысого божка, который без труда меняет милость на праведный гнев? Под ударом группа студентов в количестве от шести до тринадцати. Лесбиянок в нашей мастерской не было — зоркий глаз Мастера отличал и отсеивал таковых ещё на этапе по-

Софья Асташова

ступления. На какое-то время у меня было особое положение. Мастер много шутил, а я должна была смеяться больше и чаще всех. А вот Нюра не смеялась совсем:

— Нюр, а Нюр? С кем ты там переписываешься? Со своим парнем? — спросил он, допив то, что оставалось в бокале.

— Да нет, так, по работе.

— А ну не ври нам! — восклицает он, в шутку ударяя кулаком по столу.

Нюра не врала. Нюра много работала и, пока мы сидели во «Вьетнаме», успевала улаживать какие-то свои дела в телефоне. Или всё-таки врала? В один вечер, когда уже совсем рано темнело, за окном валил снег, привела во «Вьетнам» смущённого парня выше её почти на две головы.

— Молодой человек заплатит, — кивнул на него Профессор, когда официантка принесла общий счёт длиной чуть ли не в полметра.

Глава 2

РЫБКИ

Лицедейство — родом из Древней Греции — гармонично феминной природе и может, при условии доведения до совершенства, развиваться в серьёзную профессию. Так и вне профессии, следуя актёрскому амплу, фемина может всю жизнь, что хиханьки-хаханьки, проскакать, талантливо изображая маленькую девочку. Мужчине же крикляться до крайности непозволительно.

*Профессор Родион Родионович Принцым,
из конспекта Со*

Я скакала то здесь, то там по зелёным полям и лугам, изображая Кандида в исполнении дивной мадемуазель Марс, давно выросшей из своего амплу, но оставшейся прелестным ребёнком.

Маленькая безмозглая ingénue, она сама его соблазнила.

— Знаешь, ты не одна такая, кто претендует на моё внимание. Есть ещё много желающих, — он загибал пальцы, считая в уме поклонниц.

Зарема с коричневыми без чёрточек глазами волчицы и ястребиным профилем; невероятно высокая немка Грета, она говорила на четырёх языках и, как я слышала, бежала в Россию от мужа — то ли барона, то ли графа — с чемоданом, набитым фамильными драгоценностями, чтобы сделать головокружительную карьеру в балете; Роза, на памяти которой не умер ни один садовник — это только первый круг приближённых, от которого расходится кишащая се-

лёдкой и сельдью сеть любовных токов, включая конфетное ассорти студенток в шуршащих, будто рождественский подарок, обёртках.

Диву даюсь, как у неё получилось поймать такую редкую глубоководную рыбу?

Какие причины заставили знаменитую личность снизить до настолько неизвестной, ничем не примечательной поклонницы? Всё началось с рыбок.

* * *

— Какая ты хорошенькая! Подстриглась? — он ловко с наскака ловит меня в сгибе локтя, как сачком бабочку, — и лицо такое чистенькое, без прыщей!

Щека со скрипом отлепляется от лацкана кожаной куртки, а я безбожно вру, отвечая: «Да, подстриглась. Спасибо!» на сомнительный, если подумать, комплимент — отсутствие какого-либо изъяна во внешности не такая уж и заслуга — прыщей у меня никогда не было, да я и не стриглась, но одно полезное умение отточила — не думать. «Что тут полезного?» — спросите вы. Я расскажу, но потом, а пока:

— Ну, пойдём, купим чего-нибудь холоденького, — говорит Профессор.

Слышу, как плавится день и шипит асфальт — под ним пляж. А он пришёл весь в чёрном, как дирижёр или жаждущий отмщения Профессор французской литературы, заявившийся на роковую встречу пристрелить сонного сценариста. Мы встречаемся посреди круглой площади одним прекрасным полднем в начале июля. Завидев нужное здание в лиловых тенях на бульваре, веду нас с каникулярной беспечностью к могучим фигурам — великанам, охраняющим вход в прямоугольный портал с аркой. Дом давно стал ки-

нозвездой, а только что, будто по заклинанию, специально для нас на фасаде нарисовалась вывеска «На прилавке» и незаметно исчезнет, словно вход в таинственную пещеру, как только мы отвернёмся.

Какие сокровища таятся в твоих недрах, Сим-сим? Что можешь ты предложить нам из ассортимента сладких и газированных вод? Под золотой звон парящего над дверью колокольчика мы входим в секретный Сим-сим: он, конечно, Али-Баба, а я, разумеется, Шахерезада, рассказываю сказки:

— А помните в фильме Алексея Германа-старшего эпизод самый страшный — карета «Скорой помощи», двери закрываются, и на них складывается крест. Фильм чёрно-белый, но мы видим — крест точно красный. Снимали тут на углу...

Он не слушает, изучает содержимое холодильника с напитками: пиво «Алтайское», пиво «Сибирское», пиво сякое-растакое, газировка цветная-расцветная, крашенная водичка, соки-нектары в пластиковой таре.

— Хочешь что-нибудь? — спрашивает он, в глазах нетерпение.

— О, вы так щедры, мудрый Али-Баба! — отвечаю я с ласковой осторожностью.

Он хмыкает и достаёт из холодильника охлаждённый чай. Мы двигаемся дальше по сияющей пещере.

— А мороженое?

Я отказываюсь, продолжая гримасничать: складываю руки, закрываю глаза и кланяюсь, перекатываясь с пятки на носок, с носка на пятку.

— Нет-нет, мой господин!

— Скромничаешь? А я хочу, — он откапывает в ледяных залежах другого холодильника вафельный рожок в голубоватом пергаменте.

Днём на кассе, как на ларце с золотом и медяками, сидит грозная пожилая армянка: квадратный подбородок, брови-гусеницы, орлиный нос, из бородавки растёт блестящий чёрный волос, а вечером в лавочку приходят её братья-разбойники, не меньше дюжины. Восток — дело тонкое, а у неё не наблюдалось ни капли чувства юмора, когда Профессор на вопрос «Что-то ещё желаете?» ответил, заигрывая:

— Ну не знаю, девушка, разве что ваш телефончик?

В ответ она почесала бородавку на подбородке, зло зыркнув на нас чёрным глазом, а у меня от счастья защекотало в носу.

— Ведьма! — воскликнул Профессор, когда за нами затворился и исчез под хищными ползущими теньями вход в тайную пещеру.

Он захватил-таки мне большую бутылку оранжевой газировки — пусть, как ребёночка, нарочито дурачась, нянчу её в сгибе локтя, плещется в лучах солнца оранжевая жидкость; а себе — бутылку холодного чая и пару банок «Ред Булла», от запаха которого меня слегка подташнивало.

— Как вы это пьёте? — спрашиваю, когда мы направляемся обратно, огибая круг площади, к моему дому.

— Бросишь пить — поймёшь. Я два месяца не пью.

— Ого! — не на шутку удивившись, отвечаю я.

— Только что прошёл медицинский осмотр. Здоров, как бык, — подтверждая свои слова, он делает большой глоток энергетика из банки.

Асфальт источал волны жара, а он смотрел на меня выпученными, с красными прожилками глазами. Его подвижное тело было жилистым, как красное мясо, которое с трудом прожёвываешь, а потом весь день мучаешься, пытаясь высосать из зуба застрявшие насмерть волокна. Крепкое и сухое, совсем не такое крупное и мощное, как у быка, тело, но каменное и румяное, как запечённые в русской печи сушки.

Мне представлялось, что оно так же хрустит и царапает мягкое нёбо, если укусить.

Хруст служил аккомпанементом на наших семинарах — хрустело всё, не только сушки, но кости и черепа, ломанные надежды и хрупкие, будто свежий неокрепший лёд под ногами, амбиции. В перерыве я ставила шуршащий пакет с сушками на стол в центре аудитории, и все угощались. Он радовался и проказничал, как шаловливый ребёнок после представления в цирке подражает фокуснику — зажмёт сушку глазом на манер круглого пенсне, наденет по одной на каждый палец растопыренной пятерни и удалится со сцены в коридор веселить детишек.

В сушках мне больше всего нравилась их неисчислимость. В перерывах я представляла, как однажды принесу столько, чтобы он смог соорудить на столе гору, подобно «Апофеозу войны» Верещагина, которую мы видели на выставке в Третьяковской галерее. Но предательские сушки со стуком каменной крошки разбегались, когда он одним быстрым движением рассыпал их прямо по голой столешнице, так что несколько спрыгивали на пол и укатывались под парты по кривой траектории, как колёса поломанной брички на изрытой выбоинами деревенской дороге.

— А почему вы не пьёте?

— Мне нельзя.

— Почему?

— Так надо. А ты слишком любопытная. Невежливо задавать столько вопросов!

Мороженое он ел, крупно откусывая его твёрдое тело, оставляя следы зубов, как на доисторических окаменелостях. Оно уменьшалось, не успевая таять, и к моменту, когда мы подошли к заветному рукой-подать дворику, осталась самая вкусная часть — уже не мороженое — конус закрученной в спираль вафли, залитый изнутри шоколадом. Уже

давно пора острому сахарному рожку исчезнуть в бархатной глубине тёмного рта, уколов нёбо, как острый колпак средневекового мага-звездочёта прокалывал небо, разве что на вафельных клетках я видела звёзды.

Он вертел в пальцах конус, любуясь, поднимал к солнцу крошечный факел.

— Проколю тебе сердце! — сказал он, прищурившись, прицеливаясь острым углом туда, где примерно располагался мой глаз. И тотчас, размахнувшись, отправил в пропасть чёрного рта, после чего последовал резкий хруст.

О, как я жалела, что рожок лишь один. Второй был бы ещё вкуснее, он ел бы чуть медленнее, мгновение длилось, а мы бы так и огибали по часовой стрелке круглую площадь. Но он, в отличие от меня, не заглядывал так далеко — располагал только здесь и сейчас.

Удивительно любопытно, как терпеливо я держалась все десять дней с нашей прошлой встречи на Целовальном озере, а он не подавал знака, что помнит об этом. Но тогда, 27 июня, во Всемирный день рыболовства, мы впервые поцеловались.

* * *

27 июня 2017 года по нашему календарю был ещё один праздник — день итоговых просмотров, он же официальный конец учебного года. Я получила пятерку по мастерской. И сама же, повинувшись импульсу что-то нарисовать, прибавила плюстик к цифре в виртуальной зачётке у себя в голове.

Серьёзная со средневековым профилем актриса прочитала мою поэму по театральному торжественно и громко. Весь преподавательский состав, сидевший в первом ряду, несколько раз засмеялся по-доброму, как смеются над хо-

рошей шуткой. Самая грустная девочка на курсе, с опущенными, как у Пьеро, уголками губ, умела иногда всех рассмешить, а Профессор крутился на стуле, будто самый юный нетерпеливый ученик, норовя скорей пойти веселиться.

Конечно, ему это простительно, ведь он наши работы слушал уже миллион раз на занятиях, а мне было бы страх как неловко, если бы он сидел смирно, ведь только стыд за ученика, только недовольство могли заставить его усидеть на месте. А для меня было важно, что он остался (а мог и уйти) до момента, когда аудитория звенела от смеха. Смех — главная похвала и мне, и Мастеру. Смех был разменной монетой в нашей мастерской. Смех и есть волшебство, ради которого затевалось всё предприятие в нашей Школе.

Лето в разгаре. Небо было практически ясно. Солнце жгло макушку. Веснушки у меня на лице приобрели тёмно-коричневый оттенок. Освободившись раньше обычного, в половине второго дня, мы отправились на озеро, которое располагалось в пределах города, отмечать окончание первого курса и совпавший с просмотрами день рождения преподавателя мастерской живописи.

Одним словом — вечеринка, и, как бывало на подобных вечеринках, студенты выступали спонсорами веселья — по пути закупались всем необходимым, в первую очередь алко-голем разной крепости и цвета — красным, белым, прозрачным, жёлтым и коричневым, которого никогда не бывало достаточно, и в разгаре веселья кому-то приходилось, отвлекаясь от товарищей и рассуждений об искусстве, проделывать неблизкий обратный путь до магазина, чтобы веселье не убывало; или вызванивать, зазывать новых людей, которыми оказывались партнёры и партнёрки студентов, или выпускники предыдущих лет, которые всё ещё находились в тусовке, чтобы они пополнили иссушающийся слишком

быстро источник. Кроме алкоголя покупали литры цветной газировки, преимущественно кока-колы, выносили из супермаркета воздушные, набитые, как белые облака, пластиковые пакеты с упаковками чипсов, орешков и всем, что ещё промасленного и солёного они едят. Девочки, получившие сегодня оценку ниже, чем рассчитывали, покупали шоколадные батончики и фигурных мармеладных мишек в качестве утешения.

Что-то было в воздухе — не просто дух пятничного веселья, но с самого начала жаркого дня меня терзало чувство, что произойдёт что-то особенное, что-то за гранью, чего раньше не было. Я одновременно боялась этого и предвкушала.

После завершения официальной части просмотров, пережив трепетные несколько минут истинного счастья, я вела себя исключительно тихо и незаметно. Я была невидимкой. Плелась в самом конце шеренги студентов, не понимая толком, куда мы идём, но не всё ли равно? Я иду туда, куда идёт Мастер. А он, размахивая руками, идёт впереди длинной шумной процессии к озеру. Солнце меняло своё положение, а нетерпеливое ожидание дрожало в обжигающем воздухе. Я считала, что только одна я обладаю пониманием того, как странно и невыносимо тяжело жить эту жизнь. А под безжалостно лупящим солнцем — ещё тяжелее.

Мы шли долго, пока не нашлось такое место с деревянным причалом, где могла бы, не привлекая лишнего внимания, поместиться вся наша компания. На переднем плане вода, синее небо и ключья облаков.

Половина студентов сами скручивали сигареты, половина пользовалась жевательной резинкой вместо зубной щётки, но все без исключения, спустя год совместного обучения, из кожи вон лезли, чтобы произвести друг на друга впечатление. Хотели популярности, обожания, хо-

тели, чтобы все восхищались их гениальностью. А действительно гениальные уходили, не дотянув до конца первого учебного года, и я не в их числе. Я завидовала тем, кому не нужна Школа, чтобы чего-то добиться. Я тоже хотела иметь влияние среди своих, но преимущественно стояла в стороне и слушала, как они, запивая водку пивом, несли всякую чушь об искусстве и социальной несправедливости, а неуверенность в себе называли экзистенциальной тоской. Ругали капитализм, а впоследствии устраивались работать, разумеется, безымянными служащими без определённых задач в госучреждения, но это безусловно лучше, чем сидеть без работы. Это была богемная тусовка. Молодые, красивые и дерзкие люди весело проводят время. Проводили бы, если бы не отповедь Профессора.

— Фотография, рыбная ловля и шахматы — вот три моих развлечения. Вы мне не верите? — он обратился к рассеявшимся на деревянных досках причала, как грачи на жёрдочках, студентам. Его взгляд порхал то тут, то там над их лохматыми головами, пересаживаясь и дёргаясь, будто машинка для стрижки волос.

— Но главное, — продолжил он, — это не литература. Главное — это терпение. Простой заурядный вечер наедине с собой. А вы все хотите, я знаю, и рыбку съесть... и на лошадке покататься! И я такой, и я хочу всё и сразу! Но иногда нужно терпеть, молчать и ждать, пока и у тебя заклюёт.

Профессор преподавал уже много лет (не счесть) в разных учебных залах: школьных классах, университетских аудиториях, и знал, что на группу, набор, мастерскую (а больше всего ему нравилось, как звучат мастерские) на двадцать одну девочку приходится лишь одна рыбка. Только эта двадцать первая и может трудиться как следует и наслаждаться своим трудом. Терпение лежит в основе любого удовольствия, равно как и всякого рода превосходства.

— Терпение и труд всё перетрут! — крикнул кто-то из студентов, проведя рукой по затылку.

Профессор с вызовом оглянулся, отыскивая смельчака взглядом.

— Проблема вашего поколения в том, что вы стремитесь незамедлительно удовлетворить все плотские желания, — он обвёл взглядом застывшую и обратившуюся к нему с безраздельным вниманием толпу. — Зуб даю, — он сделал паузу, раздумывая, стоит ли продолжать, — вы все слишком быстро кончаете!

Шах и мат. Все молчали, но через секунду раздался громкий всплеск, а затем смех, который оборвал густое, повисшее в воздухе напряжение.

Какова вероятность того, что среди собравшихся выпить и повеселиться молодых людей кто-то может утонуть? Учитывая количество выпитого — большая, но она убывает пропорционально количеству людей, готовых кинуться спасать утопающего. К счастью, никто не утонул, но один — самый молодой первокурсник, скинув мешковатые штаны и трусы, ведомый отчаянием, навеянным проповедью Профессора, прыгнул с причала лишь для того, чтобы отвлечь внимание на себя.

Его вытащили за ворот футболки, которую он не удосужился снять. Теперь он лежал на досках причала и пытался вновь соскользнуть в воду. Мне было всё равно, утонет он или нет. Я, в отличие от собравшихся, умела терпеливо ждать и ждала, наблюдая за безумствами однокурсников, растирая влажные виски, будто лампу Аладдина, из которой должен появиться Джинн и исполнить три моих желания: пусть все они исчезнут, пусть все они утонут, пусть всех их отчислят, пусть Профессор...

О, не догадывалась я тогда, что исполнять желания придётся мне. А они, добродушные и довольные происше-

ствием, кто выжимая после незапланированного купания одежду, кто сложив руки козырьком, заслоняясь от солнца, кто сощурившись, высматривали лодку, идущую с другого берега, — подарок преподавателю живописи на день рождения, — на которой должен был приплыть один из выпускников предыдущего набора и вручить вёсла имениннику. Резиновая лодка приплыла, и первым, кто забрался в неё и отправился в недолгий круиз по озеру, был Профессор. Сидя в лодке, он вскинул руку в победном жесте, крикнул: «Цезарь приветствует вас!» — и уплыл.

Когда он вернулся, лица на причале делано от него отворачивались. Все, кроме меня. Подойдя ко мне, он заслонил солнце. Новенькие босоножки, купленные специально к просмотрам, ковыряли носком щель между досками. Я почесала коленку и встала поудобней. Молча он обнял меня. Мир перевернулся с ног на голову. Что мне делать? Я выискивала подсказки и знаки судьбы, но их не было. Я обняла его в ответ.

Мы слиплись, как хлебные шарики, как монпансье в жестяной коробке, как желток и белок. Короткие острые щетинки кололи мне щёку, как брызги раскалённого масла из закоптелой сковородки, и он шкворчал мне в ухо:

— Муся, поцелуй меня, Мусь!

Я прикоснулась губами к его щеке. Хотела понять, какие ощущения во мне возникают помимо того неловкого чувства, что все на нас смотрят. Счастье?

— Не так, нежнее.

Я повторила поцелуй ближе к уголку его губ, позволив себе дольше задержаться на горячей коже — они уже и так всё видели, а завтра-послезавтра-после-после-завтра виденное будет расти в геометрической прогрессии, и можно себе позволить поцеловать его ещё раз, но всё-таки не в губы.

— Так? — шёпотом спросила я.

— В губы, Мусь, поцелуй, — мурлыкал он. Его дыхание опалило моё лицо.

Я не могла послушаться Профессора, своего Мастера, и губами трогала его сухие губы, как будто здороваясь с ними: «Здравствуйте, дорогие». Кажется, теперь он был доволен, потому что издал протяжное тихое «М-м-м-м» и спрятался лицом в мою шею. Это в самом деле оказалось очень приятно.

Я старалась не придавать происходящему значение большее, чем есть на самом деле, но не могла сдержать слёзы, которые звонко разбивались о рукав его кожаной куртки. Его руки, его рот восхитительны. В обычном свете заурядного дня не было никого в целом мире счастливее меня.

Я бы сама не поверила, расскажи кто мне такое, если бы на руках у меня не имелось свидетельство, магический документ, что особенно грел и придавал смелости моему трусливому сердечку — фотография, на которой мы стоим в обнимку. Хотя я и не видела, кто именно фотографировал, может быть, накачанный бритый парнишка с открытым ртом, похожий на огромного младенца, или пухлый парень в футболке, насквозь промокшей от пота и пива, пролитого и расцветшего на животе тёмным пятном Роршаха, но до слёз благодарна тому пьяному сыщику, который исподтишка сделал нерезкую, в ностальгической дымке, фотографию. На ней не видно моего лица, только макушку и торчащее из взъерошенной шапки волос обезьянье ухо. Профессор обнимает меня, крепко прижав к себе. Одна рука у меня на спине, другая с бутылкой пива обвивает за шею.

В продолжение нескольких вечностей мы стояли так посреди причала, как актёры на сцене, с закрытыми глазами и блаженно-глуповатыми улыбочками на лице под безжалостными лучами ошалевших прожекторов, пока кто-то не

разлепил нас и на такси не увёз его с праздника. С такой же глуповатой улыбочкой я отнекивалась и всё отрицала, отвечая на вопросы:

- Ты как, вы чего?
- У вас что, роман?
- Вы встречаетесь?
- Это давно?

В мыслях пуганица. Не знаю, будет ли завтра, ничего не знаю. Всё это не имело значения. Я разводила руками и говорила, что между нами ничего нет. Мне даже не пришлось врать, ведь правда — у нас ничего не было. В озере плавали рыбки.

* * *

Он скомкал и беззастенчиво бросил через плечо шарик голубого пергамента. Я метнулась, быстро подобрала его и спрятала в карман.

— Прошу прощения, — сказал он, — не знал, что здесь нельзя мусорить.

— Что вы, что вы, можно! — ответила я поспешно. — Вам всё можно. Я просто хочу его сохранить, на память.

— Издеваешься надо мной, да? — сказал он, и мы засмеялись. Его глаза светились ярко-зелёным.

Мы обогнули круглую площадь. Подошли к железным воротам, за которыми таился сокрытый от посторонних глаз дворик, один из тех, что принято называть одесскими. Я вела его к своему дому, где на тот момент жила уже два счастливых года и хотела верить, что останусь на нём отпечатком, как след от рюмки на деревянной веранде перед входом в квартиру.

Удивительный ряд случайностей и совпадений привёл его сегодня к моему дому. На каникулах студенты ма-

стерской готовились издать небольшую книжку — сборник первых литературных опытов, а я добровольно вызвалась заняться вёрсткой, элегантно (я так умею) раскидать по чистым белым листам очерки однокурсников, а затем напечатать и сшить в школьной типографии, куда летом можно проникнуть по предварительной договорённости с деканатом.

Половина страниц предназначалась для студентов, половина — для Профессора. Достоверно неизвестно, писал ли он что-то после издания своего большого труда под названием «Тёмная ночь» много лет назад, а если какие-то тексты и существовали, то было бы немыслимо печатать их в шутовском студенческом альманахе. Но на своей половине книжки он хотел поместить фотографическое приложение с комментариями. Я взялась за вёрстку (sic), а он захотел проконтролировать (sic), для чего мы и пришли сегодня в Подколокло (sic).

Подколокло, он же Переклок, он же Подклоклок, он же Перекло-Подколокло — это мой дом, названный так по имени Подколокольного переулка, на котором располагался.

Дом был в ужасном состоянии, очень старый. Фасад осыпался, то тут, то там проглядывал голый кирпич, что приносило дух античности. За особняк с галереями боролись общины двух христианских церквей — армянская и русская. Первая хотела отвоевать себе место для трапезной, а вторая — для иконописной мастерской. По выходным здесь проходили занятия воскресной школы, и в открытое окно я слышала, как молодые прихожанки разучивали и пели псалмы. Дом окутан легендами, как дореволюционной паутиной. Здесь снимали эпизод ставшего культовым фильма «Брат-2». Здесь жил художник Уточкин-Ивотский, который всю жизнь, сотни раз, рисовал одну и ту же картину — пор-

трет Максима Горького. А перед смертью всё уничтожил. Сам Горький приходил в этот дом, в котором тогда располагались притоны, с актёрами, чтобы они посмотрели на таких несчастных, униженных людей, а потом как можно достовернее сыграли их в пьесе «На дне».

Я влюбилась в дом с первого взгляда и сразу поняла, что буду здесь жить. Сейчас в особняке с галереями ютятся последние в Москве коммунальные квартиры.

— Не хотел бы я здесь жить! — сказал один мой товарищ, когда я привела его, чтобы показать найденное сокровище.

В хорошие времена тут жили молодые художники, писатели, музыканты из провинций — дружили большой компанией, а комнаты передавались в наследство от тех, кто вырос до возможности снимать отдельное жильё. У нас образовалось что-то вроде Сибирской диаспоры — я приехала из Новосибирска, были ребята из Томска, Омска и Барнаула. Я пришла туда — бедная, забитая, одинокая, с болезненным отношением к еде девочка — и выпила предложенный мне с порога тёплый коктейль из водки и ананасового сока. Весьма удачное сочетание, по правде говоря. Закусила забытым кем-то на широком подоконнике огрызком сухого пирожка с вишней из «Макдоналдса». Ничего вкуснее я в жизни не ела. Сразу вспомнились колючие сибирские зимы, когда перед Новым годом мы забирались в чужой подъезд, казавшийся после улицы теплее пуховой перины, отогревались и пили сладкий вермут.

В Подколокло у меня появились друзья. Девочка Рита, которая смешала мне коктейль и стала драгоценным другом, в котором я так нуждалась. Главное, она подарила мне Подколокло, а в нём комнату с красными стенами, которую я заняла после того, как она переехала к своему парню в отдельную квартиру.

Солнце всё ещё ослепительно. Мы поднимаемся по наружной лестнице, которая выводит на маленькую деревянную веранду, нависавшую над двором, как птичье гнездо. Я иду впереди, с бутылкой оранжевой газировки под мышкой, он следует за мной. Его любопытный взгляд скользит из стороны в сторону, разглядывая двор по мере возвышения над ним.

— И правда, двор, как в Одессе.

— Вы ещё не видели, что там внутри. Только не пугайтесь — это коммунальная квартира.

— Соня, мне уже страшно! — говорит он, когда мы добираемся до верха лестницы и встаём на веранде перед входной дверью, на которой висят три железных ящика с надписью «Почта».

Я открываю. Его силуэт проступает на фоне дверного проёма. Перед нами пространство длинного коридора, заканчивающегося чёрной дырой. Лампа на потолке мигает, освещая скопившийся вдоль стен за многие годы человеческой жизни мусор. Чего там только нет — скрученный, как калеска, и напоминающий больше инвалидную коляску велосипед, поломанная старая мебель, вёдра, швабры, тряпки, со стен свисают советские обои, которые рассыпятся в пыль, если прикоснуться. На крючкоподобных вешалках под потолком висят нейлоновые куртки, кожаные плащи, зелёные армейские парки. А внизу горы, горы обуви, раскиданной по углам и у дверей вдоль прохода по длинной галерее.

Он в нерешительности застывает перед ближайшей ко входу дверью. Мы встречаемся глазами, смотрим друг на друга, улыбаемся.

— Какие маленькие ботиночки. У тебя тут что, дети живут? — спрашивает он.

— Ну почти — художники!

— Понятно, художники любят такие места.

Из дверного проёма слева льётся яркий солнечный свет и освещает часть коридора. Это кухня. Под ноги Профессора бросается выскочившая из окна кошка. Дикая и чёрная, как и её хозяйка Мара, в отсутствие которой кошка беспрепятственно входит и выходит через окно. Кошка усаживается под дверью, а мы идём дальше по коридору.

— Моя комната в самом конце, — спокойствие, с которым я это говорю, даётся мне не просто.

Мы проходим три двери, за каждой из которых кто-то живёт. Он идёт медленно, с любопытством озираясь по сторонам, а я быстро, опасаясь невзначай столкнуться с кем-то из соседей и желая поскорее оказаться в безопасности своей комнаты, закрыть дверь, тем самым отделив свой дом от улицы. Несмотря на то, что я вполне освоилась в Подколокло, коридор, кухня, ванная комната оставались чужим пространством.

Округлые деревянные арки под потолком делят коридор на небольшие отсеки. Первый отсек отделяет небольшое пространство, служившее предбанником перед входной дверью, второй отсек — жилая часть с тремя комнатами, кухней, туалетом и ванной, в третьем, замыкающем галерею сегменте, расположены ещё три комнаты, недружественный альянс которых представляет собой квадрат шире относительно остального пространства коридора, в котором одна комната находится напротив пролёта, две другие по бокам — слева и та, которая справа, — моя.

Массивная арка, обрамляющая этот отсек, препятствует проникновению света из передней части коридора, отчего пара — Профессор и ученица — оказывается во тьме, лишь луч света где-то на уровне солнечного сплетения золотой нитью наискосок разрезает пространство. Это светится в крошечной тьме фигурная замочная скважина. Она была такой, как изображают в детских книжках, когда герой при-

слоняется глазом и видит пространство за дверью — всё как на ладони, через маленькую щель видно всю комнату.

Перед тем, как достать ключ и открыть дверь, я предлагаю Профессору заглянуть в глазок, то есть скважину, и самому увидеть волшебство огромной камеры-обскуры, ведь он так любит фотографию. Не всегда есть второй шанс: вдруг он больше не придёт или не будет больше таких солнечных деньков. Я тяну его за рукав куртки, чтобы он наклонился и заглянул в скважину. Важен был этот момент, когда он ещё не оказался за дверью, не видел простую, если не сказать бедную, комнату, но мог созерцать её нулевым взглядом, запечатлённой на сетчатке его глаза, как на плёнке, и сохранить себе этот снимок.

— Прекрасно. А теперь давай уже открывай. У тебя ключи-то есть? Это точно твоя комната?

Да, ключ у неё есть, и тем не менее она медлит. Открывая замок, она борется с желанием его расцеловать. Помнит ли он, что произошло на озере? Может, с его точки зрения, и помнить было нечего. А она помнила. Помнила, как кротко целовала его, стесняясь свидетелей, которых хоть и не видела, уткнувшись в его шею, но была уверена, что они смотрят. Две недели, вплоть до этого момента, строила вокруг происшествия догадки и воздушные замки. Ломала голову, как им снова скорее встретиться, под каким предлогом, как не упустить момент, пока его впечатления ещё свежие. «Когда-нибудь он увидит меня настоящую и полюбит», — твердила она себе. Так и пришлось бы ей ждать начала учебного года, если бы он сам не предложил встретиться. «У тебя, если это удобно», — сказал он.

— Это удобно, — ответила она. Тут же её пронзила вспышка отчаянного оптимизма. Она чувствовала, что должно что-то произойти, и в то же время не хотела, чтобы это происходило.

В красной комнате, несмотря на открытое окно, жарко и душно, как в теплице. Воздух неподвижен. Профессор смело заходит. Из прихожей видна глубь комнаты, где расположена полуторная кровать, застеленная пёстрым покрывалом.

Я не говорю, что эта комната, снимаемая помесечно, ничем не примечательна, кроме его присутствия в ней. В этой комнате, кроме кровати, шкафа и комода, больше ничего нет, но для меня она — вся жизнь. Я бы хотела написать книгу об этой комнате.

Мгновение он удивлённо разглядывает интерьер, затем восклицает:

— Сицилийские боги! Вот, значит, где ты живёшь?

Он делает паузу, я, заражаясь его удивлением, смотрю на комнату так, будто вижу её впервые.

— Я попал в святая святых — девичью комнату!

Пол плывёт у меня под ногами, как плот, спущенный на воду. Так ли чувствовал себя Одиссей, ступив на корабельную палубу?

— Чувствуйте себя как дома, Родион Родионович.

— Смотри, а то возьму и усну тут у тебя в Кроватии.

— Смотрите, опасно Гулливеру спать в стране Лилипутии.

Комната, как ни странно, тоже имеет деление на сегменты, как настоящая маленькая квартирка — жилая часть отделена от прихожей ковролином, уложенным на деревянный пол. Он не обращает внимания на это очевидное разделение и бросает на ковёр, не развязывая, хватаясь попеременно за задники, чудесные чёрные, с дырочками вокруг кожаных мысков, туфли. Одна туфля встаёт ровно, другая ложится набок. Я тут же присаживаюсь, чтобы бережно поставить их ровно друг к дружке. Там же он небрежно бросает рюкзак и куртку.

Он даёт мне бутылку с чаем, а сам проходит в глубь комнаты, садится на кровать. Я убираю чай и свою оранжевую газировку в морозилку и аккуратно присаживаюсь на краешек кровати так, чтобы не задеть изящный подъём его по-свойски вытянутых на кровати носков.

— Чем же ты тут занимаешься, лилипутка?

Он шумно выдыхает и издаёт смешок, который я не знаю, как толковать: довольный или полный иронии?

— О, чем-то ужасным! — отвечаю я.

— Звучит таинственно, — он улыбается краешком рта.

— Нет, ничего такого, — я смеюсь, но тут же умолкаю.

Его лицо неожиданно резко меняется.

— Ну ладно, давайте работать, — сухо говорит он.

— Давайте!

Я встаю с кровати и, взяв со стола включённый ноутбук, сажусь на пол, поджав под себя ноги. Он, оставшись на кровати, чуть перемещается в угол, чтобы видеть экран. Выуживает из-под покрывала подушку и для удобства кладёт под спину.

Зелень ковра колет мне голые ноги. Я открываю на компьютере папку с текстами, присланными одноклассниками. Каждый текст должен поместиться на один разворот, иметь лаконичное название и иллюстрацию. Если текст не соответствует этим требованиям, мы с Родионом Родионовичем будем вынуждены самолично внести необходимые правки, но ребята хорошо постарались, и корректура, помимо исправления опечаток, незначительных грамматических и пунктуационных ошибок, не понадобилась. Предварительно я всё прочитала и проверила. Иллюстрации меня удивили, я не ожидала от студентов, к способностям которых после года совместного обучения относилась довольно скептически, изобретательности и приписала её своим заслугам, ведь инициатива создания сборника исходила от меня,

и это я так ловко, доступно и чётко смогла донести до них свою задумку.

Сейчас от нас требовалось расположить очерки в такой последовательности, где каждый предыдущий текст подчёркивал бы индивидуальность и необычность следующего. Довольно быстро мы с этим справились — я по очереди открывала и читала тексты. Профессор сосредоточенно слушал, периодически издавая звуки. Я знала его регистр: протяжное глубокое мычание означало одобрение; резкий вздох был маркером разочарования, но не настолько серьёзного, чтобы останавливать и что-то менять, молча он как бы говорил «так себе, но поехали дальше»; ещё был такой короткий смешок — его коронное хмыканье, которое расшифровывалось как высшая степень одобрения.

Он допивал вторую банку «Ред Булла», когда я прочитала все тексты. Я сидела на полу и молча смотрела на него. Свой текст — квинтэссенцию из поэмы, представленной мной на прошлых семестровых просмотрах, я собиралась пропустить, чтобы сэкономить драгоценное время Профессора, ведь он его уже слышал, и подозревала, что он поругает меня за выбор простого пути взять уже нечто готовое. Но у меня имелись аргументы в свою защиту — я произвела переосмысление, сделала акцент на иллюстрации, использовала не слишком оригинальный приём рукописного текста — симитировала ужасающе черновой черновик, который должен передать, какие муки претерпевает поэт в процессе живого сочинительства. Не просто зачёркивания и чёрные лакуны заштрихованных слов, но то, что делает мозг, когда отказывается работать, выкидывает такие невероятные вещи, чтобы запутать, отвлечь. «Ты не хочешь этим заниматься, иди лучше приготовь ещё того потрясающе вкусного растворимого кофе из жестяной банки. У тебя закончилось молоко? Самое время одеться и сходить

в магазин, купить хрустящих хлебцев, которыми ты можешь в полном блаженстве полакомиться, идя вдоль пруда по бульвару, присесть на зелёную свежую травку, покормить уточек, полюбоваться их блестящими шеями и яркими клювами», — твердит мозг, а я, сопротивляясь, густо заштриховываю все оставшиеся белые области на листе. Штрихую, мараю бумагу, ребро ладони тоже становится чёрным.

— А как же твой текст? — спрашивает он. — Не халтурь.

Шумно вздыхая, я медлю, но не решаюсь спорить, тем более я невероятно ценю малейшее внимание с его стороны. Один его взгляд заставляет моё сердце биться быстрее. Только я открываю рот, он меня перебивает:

— И достань мне чай из холодильника, — он кивком указывает туда, где, по его представлениям, находится холодильник — в тёмном проёме прихожей.

Я использую возможность встать — размять затёкшие от сидения на полу ноги, перевести тело в вертикальное положение и выплеснуть энергию, от которой хотелось скакать по комнате и выполнять любые его просьбы. Когда-нибудь мы сблизимся настолько, что ему не нужно будет говорить ни слова, чтобы я поняла, что он хочет. Во мне пульсирует что-то новое. Может, это то, чего мне так не хватало раньше? Я чувствую себя живой. Я уверена, что он пришёл именно для того, чтобы я могла сделать для него что-то приятное, а чтение, сборник, вёрстка — это всего лишь предлоги.

Я достала бутылку и налила ему чай в высокий стеклянный стакан. Он взял его, поставил себе на грудь, обхватил, скрестив вокруг него пальцы, полный намерения продолжать работать. Но я не села сразу, подошла к комоду, на котором стоял ранее не привлёкший внимания, но очень ценный предмет — сердце комнаты, такой, какой она была только сегодня. Я двумя руками, подражая тому, как он взял

свой напиток — скрестив пальцы, — обняла круглый аквариум, встала в центре комнаты, аккуратно поставила его на пол и села рядом. Две резвые рыбки, переливающиеся лососевой розовишной, отбрасывали золотистые блики, а преломлённые в стекле лучи заставили скакать по стенам солнечных зайчиков. Комната вся вдруг переменялась.

В приступе терпеливого созерцания расступилось всё — вся потёртая разномастная мебель, искусственный чёрно-белый мех подушек и изъеденный мышами ковролин, мышеловки и гантели, полоски рядышком с клетками, бордовое в обнимку с розовым, комод и покосившийся шкаф, стул без одной ножки и табурет, голое без рамы зеркало в неосвещённой прихожей, пустое яйцо белого плафона на потолке, уступая место пузатой линзе, огромному прозрачному глазу — так и хотелось запустить в него (предварительно, дабы не замочить, закатав рукав) жадную пятерню и выловить оранжевый юркий зрачок, положить в рот и сосать солёный леденец, а потом, царапая дёсны, с хрустом разгрызть и проглотить.

В центре красной пустыни сходились лучи золотого сечения, рассеивали свет, являясь радужным, висящим в воздухе миражом, или реальным оазисом, светящимся нежной кровеносной краснотой.

Она, а может, и он окунулись в цвет и увидели танец — хоровод из вещей и предметов. В закрученной по спирали Фибоначчи, как панцирь улитки, центрифуге сходились все лучи, становясь центром движения, танца. Красный мир комнаты ходил ходуном в объективе простого круглого аквариума с двумя золотыми рыбками, обладающими идеальной памятью в четыре секунды.

Вы могли подумать, что где-то уже это видели — и красную комнату, и золотых рыбок. Может быть, на картинах Матисса? Всё верно, она брала Матисса как образец для при-

дания магии месту, куда хотела привести Мастера, месту, где могло произойти нечто волшебное подобно тому, что произошло на Целовальном озере. Всё сложилось: свет, фотография, рыбки, литература и поцелуи. Она надеялась, ждала, жаждала, что он её поцелует. Он следил сонным взглядом за пляшущим на стене лучом света.

— Откуда у тебя рыбки? — он лежал так же неподвижно, наслаждаясь красотой игры света и тени.

— О, это интересная история!

— Ну, рассказывай, — сказал он, приподнимаясь на локте.

— Помните день просмотров? После мы поехали на озеро.

— Помню, конечно.

— Вы тогда рассказывали нам про рыбок.

— Про рыбок... не помню.

— Вы говорили, что мы все слишком поверхностные и нетерпеливые. Говорили о сути труда — умении терпеливо ждать, то есть каждый день работать, работать. А как говорил Ленин: «Учиться, учиться и ещё раз учиться».

— Что ты знаешь о Ленине, малявка? Ты даже пионером не была.

— Но вы были.

— Я был, недолго. Меня исключили.

— За что?

— Ну, так сказать, за неподобающее поведение.

— А что вы сделали?

— Соня, ты очень любопытная. Я уже говорил?

— Говорили. Я поняла, терпеливо ждать...

— Исключили за попрание и надругательство над пионерской символикой. А ты всё запоминаешь, что я говорю?

— Всё! Конечно всё!

— Ты немного сумасшедшая, да? — спросил он.

— Да, полагаю, что да.

Он кивнул, как будто я подтвердила его давнее подозрение.

— Не культивируй в себе сумасшествие. Чокнутых в моей жизни и так достаточно.

— Не буду, обещаю, — сказала я, но он уже как ни в чём не бывало поднял пустой бокал и переменял тему:

— Сонечка, налей мне ещё чая, пожалуйста.

Из моей груди вырвался вздох. У меня отлегло от сердца. Просит пить, значит, не отвергает меня совсем. Вот она, вторая возможность подняться и, может быть, получить поцелуй. Я же не сумасшедшая, что надеюсь на это? Я сделаю всё, чтобы он был счастлив, — так я думала, пока наливала ему чай. Я взяла бокал, наклонилась и подала ему.

— Так вот, продолжая про рыбок. После того вечера, пока шла домой, я думала о том, что вы сказали, и решила на следующий день пойти и купить двух маленьких золотых рыбок, чтобы иметь каждый день перед глазами напоминание о ваших словах.

— Боже! Да ты маньячка! Я начинаю бояться.

— А что такого... зато теперь каждый день смотрю на рыбок и вспоминаю, как важно упорно трудиться.

Рыбки, конечно, были не мои. Я одолжила их на один день, должный стать особенным, у любезной пары, приходившейся мне соседями и друзьями, а взамен обещала присматривать за их аквариумом и цветами во время их отъезда, что не раз делала и раньше.

Я ловлю на себе его взгляд, и, кажется, никто в мире так пристально меня не рассматривал. Тогда я ещё ничего не знала — ни горестей, ни печалей, ни странных, ни стыдных, порой до скрежета зубов ситуаций, в которых буду беспомощно барахтаться под его взглядом.

— Знаешь, как я богат?

— Как? — я встаю и присаживаюсь ближе к нему на краешек кровати. По спине пробегает тоненькая струйка пота, в груди что-то трепещет, словно пленённая птичка.

— Как царь. Как у царя, у меня по венам течёт золото.

— И по ним плавают золотые рыбки?

— Будешь моей рыбкой? Исполнишь три моих желания, золотая рыбка? — он наклоняется ко мне. Я ощущаю, что мы очень-очень близко, так близко, что я чувствую его дыхание.

— Всё, что угодно, Родион Родионович!

Выходит как-то тихо и хрипло, я повторяю эту фразу ещё раз более громко:

— Родион Родионович, всё, что угодно!

— Всё, что угодно, — передразнивает он, — а что ты умеешь?

— Всё!

Он посмотрел на часы на руке, как будто собирался засесть время — запустить таймер маховика желаний.

* * *

— Моё первое желание — пойдём поедим.

— Yes, Sire, — я с готовностью вскакиваю на ноги.

Как невзначай, как вовремя проголодался Профессор! Хорошо поработал, лёжа в по-царски расслабленной позе на диване-кровати, на бархатистом с узором в огурцах покрывале, или вдоволь насмотрелся, как я в платье с узором из красных не-сорвать-яблок, сидя на уровень ниже, привожу архив, который должен стать нашим творением, in ordine alphabetico¹; или юркие рыбки в аквариуме возбудили его аппетит; или же он услышал, как шевелилось что-то жуткое в моём желудке.

¹ В алфавитном порядке (*лат.*).

— Mon cher petit рара, знаете, чего бы я хотела на обед? — спрашиваю с обезьяньей жеманностью.

— Ну, говори, — произносит он.

— Большую картошку фри!

Голова идёт кругом. Жизнь приобретает очень насыщенный характер. Вот они уже идут в ресторан. Это их первый, с которого она в дальнейшем начнёт отсчёт, поход в ресторан — не просто «Дача», а Ресторан «Дача». Сегодня они, встретившись на Хитровской площади, уже проходили его, когда возвращались из магазина, где сидела злая армянка, а хитрованка Со каждый день проходила мимо него по Хитровской площади хилой походочкой, мимо людей, говоривших на хинди, или это был суахили?

Ей бы и в голову не пришло пригласить его в этот ресторан — он казался слишком закрытым, слишком серьёзным, слишком самобытным — вход только для взрослых. Одним словом, она стеснялась, считала себя, к глубокому сожалению, не доросшей до него, хотя со стороны восхищалась его основательностью. Её не покидало ощущение, что её разоблачат, как замухрышку, пробравшуюся туда, куда ей не следовало. Но сейчас она была в сопровождении важного человека, и никто не посмеет и слова ей сказать. От этой мысли стало намного легче.

У ресторана даже был сад — фруктовые деревья, жасмин, сирень. Его пределы нельзя было объять сразу одним взглядом, там были ещё дворики, возможно, и огород, и грядки с морковкой, тыквой, клубникой, которые можно увидеть, только пройдя в глубь огороженной территории.

К воротам вела каменная лестница с широкими ступенями, которую венчали фонари на длинных железных столбах, составлявшие единый ансамбль с увитой диким виноградом изгородью и воротами. Буквы над аркой вторили растительному орнаменту и выводили — «Дача». Само зда-

ние белого камня стояло на пологом холме и возвышалось над улицей и пешеходами. Одним фасадом оно выходило на улицу Воронцово Поле, другим прилегало к Покровскому бульвару, из-за чего его называли «Дача на Покровке», хотя до Покровки, идущей над бульваром, было ещё далеко.

Если читатель замыслит посетить «Дачу», то, пройдя через главные двери, упрётся в ведущую вверх короткую лестницу, поднимется, повернёт направо и увидит ещё одну лестницу. Поднимется по второй лестнице — здесь вас встретит метрдотель, одетый по моде начала прошлого века. Между гардеробом и уборными ведёт вверх ещё одна узкая лестница, вдоль которой висят афиши вечеров Александра Вертинского в баре «Бродячая собака», и, только поднявшись по ней, вы окажетесь на этаже, где обедают гости — всего три больших зала.

Главный зал не просто большой — огромный. Сводчатые потолки, стены с отделкой из грубого красного кирпича — рыцарское, средневековое убранство, светильники-факелы на стенах. В два ряда стоят длинные узкие столы с высокими и на вид жёсткими стульями. Акустика зала заставит вас понизить голос, иначе сказанное чуть громче шёпота грозит разнестись по всему помещению и рухнуть на вас с потолка. Из аскетичного антуража выделяется чёрная гладь плазменных панелей и бутафорские металлические доспехи.

Зелёный зал, несмотря на название, обит тяжёлой сосновой панелью, там же декоратор соорудил специальный, также из сосновой доски, бар в форме подковы. В центре стоит огромный зелёного сукна бильярдный стол. До революции этот зал, возможно, служил нуждам таинственной курительной комнаты, куда удалялись мужчины выкурить сигару после ужина и побеседовать без дам, а меня, маленькую девочку, туда и подавно бы не пустили.

В третий — красный — зал можно попасть, пройдя через главный, из-за чего он казался самым обособленным — его и выбрал Профессор, а я покорно шла следом. В случае красного зала — он полностью оправдал своё название — стены покрашены насыщенно-красным, казавшимся розоватым в послеполуденном освещении.

Там был вырезанный из камня камин, массивные радиоаппараты, старые патефоны. Под потолком парили, подвешенные на тонких верёвочках, голубые и красные бумажные кораблики — хотелось сорвать их и надеть на голову на манер детской матросской шапочки. Пахло влажным звериным мехом и отчего-то — кровью. Со стен смотрели головы мёртвых животных. Мы были единственными зачарованными охотниками, если не считать пожилую пару за столиком у окна.

Мы прошли к большому столу, покрытому золотой парчовой скатертью с цветочным узором. На скатерти — четыре большие плоские тарелки со сложенными салфетками из такой же парчи, что и скатерть, оснащённые приборами. В центре стола — высокая, сужающаяся в пику розовая свеча. Прислонённая к стене и отбрасывающая на неё длинную тень, стояла лампа в красном, с бахромой по краю, абажуре. Не успела я сесть, как на полусогнутых ногах к нам подскочил, словно испуганный олень, официант и звонко шлёпнул на стол меню. На часах было 16:59, что в сумме давало мой возраст. Секунду назад всё казалось таким нормальным, и вдруг что-то в воздухе неуловимо переменялось.

— Что будет моя инженерю? — спросил Мастер.

Я сложила руки на коленях и заговорила:

— *S'il vous plaît moi ces...*¹

бриллиантовые серьги, кораллы
крабы, кальмары — и карпы

¹ Мне, пожалуйста, эти... (*фр.*)

каберне, кальвадос — кекс
кофе, какао, кумыс — квас
кадриль, кармен — карамель
коломбина, Руссо и Пруст
кокосовый хруст
китовый ус
канделябры, кристаллы
на десерт круассаны, кремы
кринолины королевы, коктейли
канарейки и свиристели.

Я выдохнула, стараясь не издать при этом ни звука.

— В каком бульварном листке ты это вычитала? — спросил Профессор со смехом.

Я невинно потупила взгляд в тарелку.

— Я сама сочинила, только что.

— Да неужели? — он хмыкнул.

Он взял меню в тяжёлой кожаной папке. Я сделала то же самое. Ассортимент блюд напечатан трогательным куртуазным шрифтом, что вился по периметру афиш, написанных рукой Альфонса Мухи. Этот же шрифт я видела в отлитых на чугунных воротах буквах, складывающихся в название ресторана.

— Так, посмотрим, что у них есть? — довольно бурчал себе под нос Мастер.

— Ой, так много всего!

— В хорошее место я тебя привёл?

— Разумеется. Я и не сомневалась.

— Ты голодная?

— Я всегда голодная!

— Ну, тогда выбирай.

Это правда. Я была страшно голодной, но есть было невозможно, когда в животе порхают бабочки. В тот день я, как всегда на завтрак, съела один творожок, выпила кофе,

потом ещё один творожок и ещё кофе, потом творожки закончились, и я только смотрела, как он с аппетитом ел мороженое и с жадностью пил сладкую водичку. Я сделала в уме пометку впредь иметь в морозилке запас пломбира на случай неожиданного вторжения прекрасного в мой замкнутый мирок.

— Выбрала?

Он дал мне время выбрать, а я потратила его, неотрывно любуясь им, запоминая его мельчайшие черты.

— А вы что будете?

— Я — советский человек, Соня, буду салат «Столичный», котлеты по-киевски и, пожалуй, салат тёплый с языком.

— Два салата? — удивлённо спросила я.

— Да, вообще-то я голодный. Ты же меня не накормила!

Вот чёрт, чёрт, я знала, что нужно было настоять — накормить его дома. У меня были заготовлены бутерброды с красной рыбой, но он, сославшись на жару, отказался.

— Ну, а тебе что?

Я нашла в меню самое лёгкое, что, на мой взгляд, будет безопаснее всего для бабочек.

— Салат с морепродуктами «Норвежский», — говорю я, захлопывая меню.

— И всё, что ли? А десерт?

— Божечки, у них и десерты есть!

— А ты как думала!

— Может, попозже.

— Ну смотри, не стесняйся, я угощаю.

— Благодарю, Профессор.

— Фу, не называй меня так!

— Почему? Вы же Профессор, — спрашиваю я с удивлением.

— Чувствую себя слишком старым.

— Тогда я буду называть вас Мастером.

Официант подходит принять заказ. Мастер берёт на себя инициативу.

— ...а девушке салат этот...

— Норвежский, — подсказываю я.

— Норвежский.

— Что-нибудь ещё? — официант расплывается в любезной улыбке.

— Всё, — говорю я.

— А напитки?

— Пиво. «Жигулёвское» светлое, — отвечает Профессор.

— «Жигулёвского» нет.

— А какое есть?

— «Живое» попробуйте.

— Живое пить как-то страшно, — шутит он.

Официант не находится с ответом, а я заливаюсь смехом.

— Ну давайте ваше «Живое». А тебе, может, вина к рыбе?

— Можно, — отвечаю, заглядывая ему в глаза.

— Девушке бокал белого вина. Или бутылку?

— Бокала хватит, — говорю я.

— Шардоне, совиньон блан? — спрашивает официант, и оба смотрят на меня.

— Совиньон? — отвечаю неуверенно. Я ещё не знала, можно ли мне пить при Профессоре, но он ведь сам предложил.

— Совиньон, — кивает Профессор.

— Совиньон, — повторяет официант, — можно забрать меню?

— Одно оставьте, — Профессор закрывает свою папку и откладывает.

Когда официант отходит от стола, Профессор достаёт телефон и кому-то звонит.

«Здравствуй, дорогой!

Как у тебя дела?

Да, давно не звонил..

А я тут недалеко от Кривоколенного.

Нет, на Воронцовом Поле в ресторане.

Да, с девушкой.

Нет, со студенткой».

Я заливаюсь краской. Это он что, про меня?

«Свободен сегодня?

Отлично, я зайду попозже».

В смущении я не знаю, чем себя занять, чтобы не подслушивать. Достать телефон, про существование которого я и забыла, кажется невежливым. Я озираюсь по сторонам, рассматривая интерьер зала. Обращаю внимание на заполненный книгами старинный шкаф позади Профессора, где было полное собрание сочинений Толстого, Достоевского и целых три полки занимали бордовые тома Ленина. На другой полке стояли виниловые пластинки в потёртых обложках, коллекция керамических слоников, расставленных полукругом от маленьких по краям к большому по центру. Подперев один из массивных томов, сидел, обхватив колено руками, конечно, не кто иной, как Максим Горький. Радуюсь находке, улыбаюсь.

— Что улыбаешься? — он отрывается от телефона.

— Увидела Максима Горького.

— М-м-м-м...

Видимо, Горький не интересуется его так, как меня — он даже не оглянулся проследить за моим взглядом. Снова погружается в телефон ещё минут на десять. Я продолжаю считать слоников, картины, столы, свечи на столах, салфетки, перечисляю про себя все оттенки красного в этом зале.

— Что они так долго? — замечает он, убирая телефон в карман. — Умираю от голода! — поворачивается на стуле, высматривая официанта. Развернувшись обратно, смотрит на меня так, будто забыл о моём присутствии и только сейчас заметил, что я сижу здесь и смотрю на него.

Софья Асташова

— Ну что, Соня, рассказывай.

— Что рассказывать?

— Что-нибудь интересное.

— Даже не знаю, что вам будет интересно...

— У тебя парень есть?

Я вспыхиваю, будто спичка, и высматриваю официанта, молясь, чтобы он принёс еду поскорее.

— Нет, нету.

— Нет? — спрашивает, вскинув брови, с нарочито преувеличенным, как мне кажется, удивлением. — Почему?

— Не знаю. Так получилось, — я вижу, что этот ответ его не устраивает, и добавляю: — Мне никто не нравится, — это была почти правда.

— А как же секс?

— Ну... я справляюсь.

— Как справляешься?

В ответ я закрываю лицо руками и качаю головой.

— Ничего не слышу! — жалобно доносится из-под ладоней.

Он хмыкает, но продолжает:

— Не бывает так, чтобы никто не нравился.

Я слышу, как у меня в голове крутятся шестёренки, судорожно соображаю, что ответить. Как перевести тему? Нет, я не хочу менять тему. Бабочки в животе трепещут и взлетают к самому горлу.

— Есть один человек, но я ему не нравлюсь.

— Кто же он? Я его знаю?

На этом, ввергающем в отчаяние вопросе, приходит моё спасение в лице официанта, ставит перед нами тарелки с салатами. Его — подан цельной массой, будто слепленной из детской формочки, с веточкой петрушки сверху. Содержимое моего «Норвежского» художественно разложено по тарелке — на листьях салата покоятся ми-

дии в чёрных раковинах. Профессор отвлекается на еду и, кажется, забывает про свой вопрос. Он задумчиво разворачивает большую парчовую салфетку, проворно берёт приборы и принимается за салат — масса мягко поддается вилке.

— Вкусно? — спрашиваю я.

— Обычный оливье, но ничего, вкусно.

Я беру тяжёлую вилку и нож, рассматриваю, раздумывая, с чего начать, мидии в раковинах кажутся неприступными. Начинаю с листочков салата.

— Плохо, что у тебя нет парня, — он отправляет вилку с салатом в рот. — Может, у тебя слишком высокие требования?

— Наверное, вы правы. — «Неужели ему правда интересно», — думаю я.

Он быстро заканчивает с первым салатом, официант приносит горячее и салат из языка.

— Запомни, я всегда прав, — говорит Профессор.

От котлеты поднимается сладкий сливочный пар.

— М-м-м-м, вкусно пахнет, — я снова пытаюсь перевести тему.

— Надо тебе найти кого-нибудь, — говорит он, взявшись за нож.

— Да, Родион Родионович, найдите мне кого-нибудь.

Он смеётся, я смеюсь в ответ и отправляю в рот креветку.

Пожилая пара за другим столом расплачивается и уходит. Мы остаёмся одни. Подходит официант и, хотя было ещё недостаточно темно для романтической атмосферы, зажигает свечу на нашем столе.

Я хочу спросить, есть ли у него девушка, но заранее знаю ответ. Никак не удастся достаточно уловить его настроение, чтобы понять, о чём говорить — его тон то серьёзный, то шуточный, то насмешливый.